

Вадим Медведев
31.03.03

Ф.: Я хотел заняться двумя группами в Советском Союзе – диссидентами и партийными реформаторами. Больше всего нравственные взгляды, связанные с политическими действиями. Меня интересует несколько моментов из ваших воспоминаний для начала, если можно. Это ясно, что Вы вначале были партийным секретарем в ленинграде, потом переселились в Москву. И как Вы пишете в воспоминаниях, что очень разная была моральная культура между Ленинградом и Москвой, в конце концов, в московской партии не очень хорошая нравственная культура по сравнению с ленинградской. Вы можете чуть-чуть рассказать об этом?

М.: Но я думаю, что здесь не только различия между Москвой и Ленинградом, между московской культурой и ленинградской, хотя это тоже наверное имело место. Я думаю, что это общая проблема между, так сказать, какими-то институтами, нормами поведения в центре и на периферии. Все-таки на периферии была более простая и не такая изошренная обстановка, Правда я там проработал очень недолго секретарем ленинградского горкома – три года с небольшим – но все же я так убедился, что, во-первых, реальная власть находится в руках партии, в руках партийной организации, но, вместе с тем, я не видел какого-то перерождения аппарата, не видел, что там были какие-то неделовые отношения, что были взятки, коррупция. Я с этим за три года ни разу не столкнулся и я Вам скажу без преувеличения. Конечно люди были разные, Были люди очень такие жесткие, упивающиеся своей властью. У меня перед глазами был мой непосредственный шеф – Первый секретарь горкома ленинградской компартии – очень жесткий человек. Но у меня перед глазами был и другой пример – был пример господина Толстикова, ну, товарища Толстикова – Первый секретарь обкома партии, т.е. высший ленинградский руководитель. Это был очень эмоциональный, с моей точки зрения, очень честный, открытый человек и, в общем-то...

Ф.: Но он влиял на Вас?

М.: Конечно. Я был молодой и вышедший из совершенно другого мира человеком, оказавшийся в этой среде. И каждый из них хотел, ну, а в то же время они чувствовали, что вроде человек не без способностей, из академической среды, из университета, и каждый стремился меня привлечь к себе...

Ф.: Из какого мира Вы значит?

М.: Я из другого мира, я никогда не был до этого на партийной работе. Я кончил университет, потом пять лет работал в университете на кафедре полит экономики в Ленинграде, защитил там кандидатскую диссертацию. Потом я перешел в другой институт, стал Зав кафедрой полит экономики в 30 лет. Защитил докторскую диссертацию – мне было тогда лет 35-36. И никогда не помышлял о политической и даже об общественной карьере. И вот в этот момент, так сказать, меня извлекли из этой среды и выдвинули сразу вот на такой...

Ф.: В конце концов Вы были ученым, Вы нашли себя в совершенно другой среде.

Мю: Конечно, да. Но с другой стороны, было все-таки интересно, потому что мы все знали, что партия – это все. И было интересно изнутри посмотреть какие это

механизмы, как партия управляется. Не то, что любопытство, это был и профессиональный интерес, потому что партия управляла и экономикой.

Ф.: Вы каким-то образом начали участвовать в этой сфере и не влиять на экономическую жизнь? Потому что это были попытки реформировать экономику, вы тоже этого хотели?

М.: Да, я очень активно участвовал в Косыгинской реформе в Ленинграде. Были тесные связи с промышленностью. Моя докторская работа была построена по сути дела на материале Косыгинской реформы. Я ее защитил в 67-м году. Так что она никуда не совсем кончилась, еще были надежды на то, что она даст результаты. Но и идеи они были созвучны. Вся моя работа теоретическая в то время была теснейшим образом связана с Косыгинской реформой – оттуда я вышел как экономист, как политэконом.

Ф.: Ваш интерес отражал более широкое направление среди экономистов или Вы считали, что были отдельным человеком?

М.: Нет, уже в то время и среди ленинградских экономистов шла дискуссия, довольно не очень заметная, может быть где-то в глубине, но она шла между сторонниками прежней, чисто административной системы и сторонниками внедрения хозрасчетных, рыночных отношений и я принадлежал ко второй. Вся диссертация была в этом плане. Она, кстати говоря, плохо проходила из-за этого, по этой причине, но защита прошла хорошо, потому что я защищался в своем кругу, среди своих друзей в Ленинградском университете, где работал 5 лет. А в Москве она проходила плохо, были отрицательные отзывы именно за ее рыночное... Но тогда терминология была несколько иная, но смысл был в этом. Но дело все в том, что на партийной работе я оказался не по экономике, а я был секретарем горкома по идеологии. И дальнейшая карьера партийная, правда карьера в кавычках, потому что я как раз и в Москву не хотел переезжать, тоже как-то это получилось, ну не против воли – если бы я сказал, что я был категорически против, может и не стали бы, но у меня были большие колебания.

Ф.: И почему?

М.: Вот по той причине, что это как-то придает иную направленность моей деятельности, я отдаляюсь от...

Ф.: Значит это профессиональные колебания, прежде всего?

М.: Профессиональные. Но и кроме того, конечно, может быть это не открыто, но где-то интуитивно все же было представление о том, что идеологическая работа не очень вяжется с... Штампы идеологические того времени они носят формальный, директивный характер. Невяжутся... Не то, не нравится. Ну душа не лежала, тем не менее вот так.

Ф.: Но Вы описываете себя как сын из поколения XX-го Съезда...

М.: Да тут описывай, не описывай – реально-то это так. Откуда возникли вот эти вот даже чисто профессиональные экономические взгляды отличные от того, что до этого было и связанные с реформой Косыгина, хотя она была не очень глубокой, непоследовательной. Это же оттуда идет, и от шагов Хрущева, Малинкова и Хрущева.

Там были же какие-то структурные взгляды другие, что надо не тяжелую промышленность, а легкую развивать, что надо личное подсобное хозяйство освободить и дать ему возможность нормально существовать. Это конечно были отдельные такие, может быть даже импульсивные решения, но все же они конечно были новым словом по сравнению с тем, что было при Сталине. И оттуда мы выросли, естественно. Хотя я не очень люблю такого рода квалификации, что мы дети XX-го Съезда. Но так по существу, но... XX Съезд был все-таки с сщвременной точки зрения хоть и смелым, но не так далеко идущим.

Ф.: Понятно. И вот накануне перестройке Вы чувствовали – это легко сказать сейчас, даже для своих студентов можно писать – но какой был кризис в Советском Союзе накануне перестройки? Например, до того, как Горбачев пришел к власти, Вы сами чувствовали, что страна была в кризисной ситуации или нет? И нужно было реформировать чуть-чуть?

М.: Ну, тогда не говорилось, что кризисная, а о предкризисной ситуации, что настанет трудно, это я чувствовал профессионально. Я пришел к необходимости реформирования Советской системы через экономику. Потому что я, в общем-то, был членом партии, партийным функционером, партийную дисциплину я строго соблюдал как все мы и не оттуда я пришел, а от экономики, от анализа. Я не прекращал заниматься своими экономическими проблемами где бы не работал.

Ф.: Уже когда Вы писали диссертацию, Вы думали, что нужно реформировать?

М.: Да, потом книжка у меня была такая «Социалистическое производство», где я подробно проанализировал тенденции развития Советской экономики, особенно с точки зрения ее эффективности. У меня была разработана там своя методика исчисления эффективности и анализа ее динамических рядов. Я провел каласальную работу по выстраиванию этих рядов и обнаружилось, что, начиная, с 70-х годов, примерно с середины 70-х годов, эффективность производства перестала расти и наоборот стала снижаться.

Ф.: Значит в этот момент в середине 70-х годов Вы начали думать, что нужно реформировать?

М.: Ну, конечно, возникали проблемы в чем дело, Ну а для меня уже было ясно в чем дело и как надо решить проблемы, исходя из опыта Косыгинской реформы, которую я хорошо видел она провалилась, ну, как сказать по точнее, она не сама по себе провалилась, а ее провалили. Ее првалили из-за нежелания менять особенно верхний эшелон хозяйственного руководства. Я был сторонником планового хозяйства. Я считал, что плановое руководство необходимо со стороны государства, но верхняя часть этого планового руководства оказалась не в состоянии руководить экономикой так, чтобы она развивалась и повышала свою эффективность.

Ф.: Значит Вы хотели больше специалистов в руководстве экономики?

М.: Да каких специалистов? Они... Вы знаете, там в экономическом аппарате были крупные специалисты-хозяйственники, но они все были иного плана. Т.е. плана такого, что надо нажимать сверху и ускорять или повышать эффективность методами с верхнего, так сказать, прямого планового воздействия. А это уже не работало.

Ф.: Значит, накануне перестройки это было предкризисное, чувствовалось, что нужно было реформировать, но не было чувства, что как бы целая страна в кризисной ситуации?

М.: Да, а потом, что касается политики, то я уже тогда довольно близко знал многих руководителей высшего ранга, потому что приходилось общаться, иногда даже на заседания политбюро приглашали. А потом я был ректором Академии общественных наук – это была система подготовки, переподготовки высших кадров партийных экономического профиля, идеологического и т.д. Туда приезжали для выступлений и мы приглашали членов политбюро, секретарей ЦК. Я видел, что... Ну, с Брежневым я близко не общался, ну кое-какие там, я участвовал в написании некоторых там речей, но контакта не было. Он знал, он интересовался, мне передавали, кто я такой и что я представляю собой, но никаких не было ни встреч, ни разговоров, ни совместных, ни в узком кругу не было, но я знал, что это конечно уже руководитель, который уже полностью исчерпан. Исчерпан не только по возрастным качествам, но и по глубине понимания руководства, по эрудиции, по всему он уже не может. Тем более, что у меня уже и в работах моих было заложено идеи, которые я потом начал развивать о пост-индустриальной, так сказать, трансформации экономики и того, что мы осуществив за годы такими жесткими, насильственными методами индустриализацию страны, и прошли за короткое время этот путь, мы встали перед необходимостью двигаться дальше. А вот дальше двигаться при прежней системе абсолютно невозможно было. И что этого не видят и не хотят видеть, может быть в какой-то мере и видят, но не хотят видеть, не хотят признать того, что нужна какая-то решительная перемена в стране, в экономике, чтобы не отставать. Мы начали отставать снова. В научно-техническом прогрессе мы до где-то то середины 70-х годов наверстывали упущенное, а потом стали отставать снова. Мы никогда не достигали американского уровня, это факт, но до этого разница сокращалась, а потом стала на отставание опять – я это видел хорошо. Конечно же в этой связи возникали соображения, правда они где-то в глубине души может быть не высказывались, или высказывались самым сокровенным друзьям, что ну не способно руководство на такие перемены. Может быть еще и самому было неясно, что это за перемены, но было видно, что неспособно на перемены. Я хорошо был знаком с господином Кериленко, это был член политбюро, и он-то ведь отвечал за экономику. Я ему писал некоторые записки по некоторым острым вопросам экономики. И надо сказать, что он в общем-то ценил меня, но он был абсолютно не способен к восприятию новых идей.

Ф.: Он был очень старым?

М.: Да, но он был чуть моложе Брежнева, но старым он конечно человеком был. И не очень грамотным.

Ф.: Человеческий фактор очень часто употреблялся в начале перестройки и у разных экономистов и социологов это было понятием о моде, но было чувство, что было трудно мобилизовать человека в этом смысле? Как Вы относитесь к этой проблеме?

М.: Да может быть тогда еще не очень хорошо доходила до сознания мысль о том, что человеческий капитал становится альфой и омегой современной экономики. Потом это стало уже и сейчас это уже совершенно ясно. Но уже и тогда было понимание того, что роль человека меняется. И было понимание и видение того, что прежняя система

не создавала ни простора, ни самое главное стимула для активизации человеческого фактора.

Ф.: Это была не очень ясная проблема, но это...

М.: ...но все-таки было ясно, что при таком запасе знаний, который тогда уже был накоплен, и все-таки научно-политехнический потенциал был большой, но вот он не дает отдачи, а развивается сам по себе, в своем собственном каком-то логическом таком развитии, а выхода на практику не дает и было ясно, что это связано с социальными и человеческими причинами, прежде всего со стимулами и творческой деятельности и коммерческой деятельности. Это было ясно. И недаром в ту пору говорили о социалистическом предпринимательстве. Мы считали, что предпринимательство можно, так сказать, соединить с плановой системой, социалистическими принципами, и т.д. И я был грешен тоже так считал, что можно это было соединить, но как соединить?

Ф.: Вы считаете сейчас это было ошибочно?

М.: Ну, ошибочно потому, что без коренных перемен в отношениях к собственности, в отношениях к распределению этого сделать было невозможно.

Ф.: И когда Вы пришли к вот этому взгляду, что без частной собственности это было невозможно?

М.: Постепенно, и в начале перестройки еще частная собственность – это понятие произносилось с трудом. Я думаю, что это было не так уж глупо, потому что дело не в частной собственности, не в индивидуальной собственности, а дело в том, чтобы собственность давала выход для личной инициативы, для предпринимательства, а они могут быть не только на основе частной собственности. Вы мне скажите, корпоративная собственность это что такое, жто частная собственность? А Вы мне можете указать пальцем кто является собственником какой-то корпорации или нет? Не можете указать этого, потому что сейчас основными держателями акций являются не индивидуальные, а корпоративные собственники – банки, пенсионный фонды, другие корпорации и вообще не поймешь, кто является лично собственником чего. Правда Форд??? Делает такие подсчеты и приводит цифры, что там... и даже российских называет, что у Ходарковского там сколько 7 миллиардов, у Березовского столько-то, но пойдй это все подсчитай – все примерно.

Ф.: Значит постепенно...

М.: Да, постепенно.

Ф.: Значит, это вопросы идеологии перестройки. Значит, если была идеология...

М.: Но она развивалась постепенно. Вначале была идея самостоятельности предприятий. На этой почве родились идеи выборов даже директоров предприятий, чтобы заинтересовать коллектив и каждого в делах предприятия. Это была, в общем-то, идея ошибочная и не очень инструментальная, потому что это не то. Современные формы формирования, менеджмента и руководства другие, более эффективные. Потом родилась идея аренды и вот у меня была в книжках и в последнем учебнике по

полит экономии, который был написан под моим, был написан группой авторов под моим курированием. Появилась такая теория, что социалистическая собственность должна преобрести форму некой аренды, как бы коллектив работающих выступает в виде арендатора земли, средств производства, общества, но распоряжается ими в полной мере, что-то выплачивает в виде платы за фонды общества, а в остальном ведет хозяйство самостоятельно. Вот это был рубеж определенный. Ну одновременно, что касается мелкой предпринимательской деятельности, то одним из первых шагов было раскрытие шлюзов для индивидуальной трудовой деятельности. Хотя это тоже сопровождалось ужесточением режима за доходами от этой индивидуальной трудовой деятельности. Для кооперации были раскрыты широкие просторы, но это еще со ссылкой на Ленина на его кооперативный план, кооперация это социализм по сути дела. Вот кооперация. Вот в виде этих форм и потом постепенно уже к разгару перестройки, ближе уже к ее завершению, т.е. поражению ее, был выдвинут лозунг абсолютного равенства и абсолютной допустимости любых форм собственности на основе одного принципа – эффективности. Любые формы собственности. Там, где не дают эффект – пожфлуйста.

Ф.: Когда понятие эффективности стало центральным понятием? Наверное эффективность заменила идеологические термины?

М.: Но, в общем-то, об эффективности говорили уже и при Брежнев.

Ф.: Да, я так и думал...

М.: Пятилетка эффективности и качества была провозглашена и т.д. Но другое дело, что тогда ничего не делалось, никаких социальных экономических институтов не создавалось для того, чтобы эту эффективность осуществить на деле. Так что этот термин сквозняком проходил, а вот когда уже был поставлен вопрос изменения форм присвоения и распределения, т.е. реальных экономических отношений, которые должны были эту эффективность – это вот то, о чем мы говорили. Вот такой тоже постепенный отказ от принципа, который господствовал в течение многих десятилетий, что чем выше роль государства, тем эффективнее, чем, так сказать, большая степень охвата государственной собственности, тем лучше, тем ближе к эффективности и к коммунизму.

Ф.: Я заметил, что, как я сказал, что тоже разные были беспокойства о нравственном кризисе, было чувство, что есть коррупция, есть распад семейной жизни, как писали об этом в разных журналах. Хотел быть узнать, если Вы тоже оценивали, что есть нравственный кризис или это был больше всего, по-вашему, экономический кризис накануне перестройки, в начале?

М.: Нравственный кризис тоже в какой-то мере был, но должен сказать, что он абсолютно несопоставим с той нравственной деградацией, которая произошла в 90-е годы. Тут и говорить не о чем.

Ф.: Но это не было ключевым пробуждением для каких-то реформистских руководителей, как для Вас, например?

М.: Ну может быть для диссидентов, которые вели и вся их деятельность была в сфере прав человека, закона, вот для них это может быть было на первом месте, но для о себе

я сказал от чего я, от какой вышел. Но потом, конечно, стали возникать и нравственные проблемы, когда я уже более менее с близкого расстояния наблюдал некоторых руководителей, начиная с Брежнева, то возникали, конечно, и нравственные вопросы. Как могли люди, сохраняя здравый рассудок, цепляться за власть? Видели, что все ускользает. Собственно, я не припомню, что были люди в высшем руководстве, которые исходили из чисто нравственных побуждений, заявили, что они не согласны с тем, что делается и уходим в отставку. Хотя были люди очень уважаемые. Я вот неоднократно встречался с бывшем Белорусским руководителем, Машеровым, это было, с моей точки зрения, тоже образец. Машеров Петр Миронович. Он из партизан белорусских, так сказать еще военного поколения, учитель по профессии, может быть это сказалось. Но вообще он был очень такой, чувствуется, переживающий за все человек. А, конечно же, в последний период, это вторая половина 70-х годов, это уже было некое нравственное перерождение брежневского руководства.

Ф.: Это чувствовалось в тот момент или Вы это чувствуете глядя назад?

М.: Ну это уже потом стало яснее. И потом уже, когда вместе с Горбачевым работали уже и сами были длизки к котлу, в котором варилась политика, стало ясно, что Брежнева держали у власти искусственно, причем небезкорыстно в том смысле, что образовались некие сферы, в которых царили определенные лица и я их могу назвать, Брежнев туда не вмешивался и полностью им доверял. Это были ипархии, в которых царил один человек. Это был МИД во главе с Громыко, туда даже аппарат ЦК в международные дела, в международную политику не вмешивался, международный отдел ЦК, хотя партия взяла над всем и в любых других случаях заведующий отделом ЦК КПСС был гораздо выше и по общественному положению, и по уровню власти, и по уровню полномочий, чем любой министр. Заведующий отделом ЦК мог вызывать любого министра и с ним беседовать как шев, как курратор. Человек, стоящий над ними, я тоже некоторое время работал заведующим отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС и я знаю. Ко мне приезжал президент Академии наук советоваться, министр Илютин – бывший министр образования, министр медицины и т.д. и т.д. Но туда, в МИД никто не вмешивался, кроме Громыко и прямо на Брежнего, все, а Брежнев уже был неидеиспособен, поэтому...

Ф.: Громыко был очень значительным человеком в системе.

М.: Он просто держал все это в своих руках. Вторая была оборонная, ну может первая или вторая – это неважно, это был Устинов. Устинов был очень грамотным человеком, очень волевым человеком, но в его руках было Министерство обороны и все, что было связано с обороной, в его руках бфл, практически, военно-промышленный комплекс. Это вот такая была ипархия, туда тоже Брежнев уже не мог вмешиваться. И третья – это КГБ, естественно, со всеми его подразделениями. Тогда был единый кулак, потом его разобшили, сейчас его снова собирают в единый кулак. Там Андропов сидел – особо доверенный – вот эти трое они правили бал. Брежнев им доверял полностью, хотя, конечно, в каждом ведомстве были еще и очень близкие человеку люди – Брежневу, да, особенно в КГБ. Там были при Андропове все-таки были двое, которые были особо близки к Брежневу. Это был... как же его, с украинской фамилией?

Ф.: Щербитский?

М.: Нет, нет. Щербитский был на Украине. Одно время он вроде бы катировался при Брежневe. У них с Щербитским были очень хорошие отношения. А Цвигун и Цинев – это были люди особо близкие.

Ф.: Вы сравниваете в своих мемуарах Ельцина и Андропова в один момент, говоря, что они оба были против привилегии, были против коррупции в этом смысле. Интересно...

М.: Но это абсолютно разные люди и в этом вопросе даже, потому что Андропов действительно был скромным человеком. Ну нельзя сказать, что он был против привилегий, потому что и он как президент и член политбюро, да и как председатель КГБ пользовался всем. Но была система такая. Пичем система эта ведь имеет более широкие основания. Такая вот корпоративная система жизнеобеспечения чиновничества. Ноо и не только чиновничества. Корпоративная социальная система была везде, по всем линиям, во всех министерствах, но и, конечно, в центре – в ЦК КПСС, в КГБ, и в МИДе.

Вот, так что сам Андропов вел себя очень скромно. Мне с ним приходилось встречаться, Я в своих книжках описываю встречи с ним. Но дело не в этом, по общему впечатлению он был скромным и строгим по отношению к себе и другим человеком. А Ельцин – это демагог, совсем другой тип. Я знал его еще по Свердловску, был у них в Свердловске, принимали они там меня, пытались всякие там подарки мне дарить. Они с его ведома, когда я был здесь заведующим отдела, а потом ректор общественных наук, но считалось, что каждого высокого гостя из Москвы, из центра надо вот так одаривать чем-то. Знаю как они пили все вместе на пропалую. Это ужасно было сидеть с ними за столом. Глушили водку ну это уже просто уже до последней степени. И он царь-бог был там, всем пользовался по тем нормам и никаких не было у него, никогда не было у него демагогических выпадов против привилегий до тех пор, пока он не лишился власти.

Ф.: Можно Вам задать несколько вопросов, связанных с Вашим отношением с интеллигенцией?

М.: Ну вот на счет Ельцина скажу, чтобы не прерывать. Он вкус жтот к демагогии почувствовал, когда стал секретарем Московского горкома партии. Ну это целая история с его выдвижением. Вот я бы у него общего нашел не с Андроповым – это совершенно разные люди, а, как это не странно, с Легачевым. Но где-то я даже писал в своей книжке, что они принадлежат к одному и тому же типу работников такого командного толка. И не случайно, что именно Легачев взял его с Урала в Москву, ну, конечно, без Горбачева. Но Горбачев с самого начала к нему относился настороженно и критически. А Легачев считал, что нет, это хороший руководитель, твердый, хорошо проводит линию партии и т.д. и т.д. И действительно потом, когда он стал кандидатом в члены политбюро, то участвовал в заседаниях политбюро и секретариата. Он всегда выступал очень решительно за социализм, за Ленина – в этом отношении он очень похож на Легачева. Но есть отличие – Легачев все-таки более порядочный человек, т.е. если он что-то говорил, то он говорит это сегодня и завтра и послезавтра и не меняет. А у Ельцина, он сегодня может говорит одно, завтра другое и с такой же искренней убежденностью, в том, что он говорит правильно и в том, и в другом и в третьем случаи.

Вот когда он стал секретарем Московского горкома он тогда боролся за свой имидж как борца за справедливость, за новизну, против бюрократов и т.д. – вот тогда-то он,

хотя борясь за свой имидж, оседлал эту проблему борьбы с привилегиями и потом сделал ее основной козырной картой в своей политической религии??. И потом уже когда его освободили от Московского горкома он на этом играл, упрекая Горбачева в том, что он дачу строит. Почему дачу? Дачу не он же строил, ее строили еще при Брежневе в Крыму. И наоборот Горбачеву и все мы кто его поддерживали начали постепенно эту систему привилегий деватировать без подсказок со стороны господина Ельцина и независимо от него. Да инициатива проявлялась с нашей стороны постепенно систему распределения продуктов ликвидировали, потому что она унижительной была. Потом дорогих дач – члены политбюро отказались от дорогих дач, государственных дач – ну там какие-то другие предоставили для отдыха там. Вот.

Ну и что в итоге? Каков финал? Ельцин... Да, он демонстративно ездил в трамвае, в поликлинику в районную пошел к участковому врачу. Никогда не было таких привилегий и такого нахального присвоения благ, как при Ельцине и с его стороны лично, лично. Я знал в какой даче он живет. Когда он еще был секретарем Московского горкома он въехал в дачу, в которой потом я некоторое время жил. Ну огромная дача, мне было даже как-то неудобно. Я прожил в ней год, потом освободились от этого всего. Рассказывают, что он въехал в эту дачу за несколько – за два-три года до меня – значит, приказал – для чего это надо было? – гранитом выложить вокруг дачи цоколь. Теннисный корт – с самым современным шикарным покрытием. Это вот знаете, покрытие с резиновой такой составляющей и т.д. Для чего спрашивается, если у него, если надо ему в теннис поиграть – очень много кортов любых в том же управлении КГБ. Зачем? К чему?

Ну, а главное, потом началось ??? с олигархами и колоссальные подкормки в виде взяток и чего-то. В этом до сих пор не могут разобраться. И Путин туда не может никак – он что-то пытается там вокруг да около, Березовского и т.д., а не дает ему прежний президент. Так что вот это борец за справедливость, против привилегий.

Ф.: Да, интересно. Отношения с интеллигенцией, Я с большим интересом читал, что Вы писали о Ваших встречах с Сахаровым и о вот этом моменте, связанном с публикацией творчества Солженицына. Просто хотел узнать, Вы уже читали до перестройки работы, например, Солженицына? Или диссидентский круг был для Вас иностранным миром до этого?

М.: Нет, я не читал. Читал только «Иван Ивановича», и «Один день Ивана Денисовича», читал «Матренин двор», «На станции Крестовка» - это я читал, конечно, потому что «Новый мир» я читал. А вот что касается его других произведений как то «Раковый корпус», «В круге первом», я не читал до поры до времени. Потом «Ленин в Цюрихе»...

Ф.: Это только во время перестройки, когда Вы начинали читать?

М.: Нет, не читал, некогда мне было этим заниматься, а вот когда я стал членом политбюро, к тому времени уже на Западе был издан его «Гулаг», вот не читал. А вот сразу мне пришлось читать все, потому что я не мог иначе вести какие-то дискуссии, обсуждения. Откровенно говоря, он меня разочаровал, потому что по сравнению с тем, что было опубликовано в «Новом мире» в художественном отношении это ни в какое сравнение почему-то не идет. Я не знаю, читали ли Вы?

Ф.: Я все читал, я его творчество знаю очень хорошо.

М.: Я с большим трудом и с большим, так сказать, насилием над собой, не получая ни какого удовольствия от художественных качеств, прочитал...

Ф.: Например, «Гулаг», мне... Когда мне было 18 лет я читал, я был в шоке. Как Вы реагировали? Потому что это большая проблема. Это было новостью для Вас о чем он писал?

М.: Ну что-то новое было, но в принципе это было известно, потому что я в то время был членом комиссии по реабилитации невинно осужденных и казненных, который сначала руководил Соломинцев, а потом Яковлев. Я был членом этой комиссии, я знал примерно эти дела, но что касается самих порядков в Гулаге, в лагерной жизни, то это конечно понаслышке только. Но, дело в том, что меня поразила предвзятость Солженицына. Предвзятость в каком смысле, в том смысле, что у него не столько гуманистические, какие-то человеческие чувства, и сочувствие жертвам невинным, жертвам Сталинских репрессий, но у него избирательный подход к этому делу. Т.е. одних он просто так, а над другими издевается – говорит, что вот вы – в отношении Бухарина, Троцкого, еще невинно осужденных – вот, вы, за что боролись, то и получайте. Ну, как же так можно, если это невинные жертвы, причем тут политика, которую они проводили, тем более, что, в общем-то, разные оценки могут быть, но многие из пострадавших – это честные люди и очень такие...

Ф.: Но была борьба, действительно как кажется, зимой 88-го года?

М.: Да, еще что хочу сказать. Конечно же меня как-то поразило и вызвало недоумение его позиция тех, кто перешел на сторону противника в войне, т.е. реабилитация Власова его – это было непонятно и чудовищно. Значит у человека назойливая мысль, что все, что против – независимо от побуждений – что все, что против Советской власти – это все негодное???, и все, кто боролся против нее, вроде Власова – это же изменник, причем изменник не такой, что он попал в плен и, так сказать, у него вбор либо умереть, либо пойти на службу врагу, а это по сути дела добровольный переход. Да, вот это меня поразило и это я не могу никак, моей совести это непонятно, неприемлемо это. Если ты гуманист, то будь последовательным гуманистом. Если ты за человеческую порядочность, будь последовательно порядочным. Оправдывать изменников, те кто перешли в сложную годину на другую сторону и боролись против Советской родины, или не против Советской родины – все равно как это.

Ф.: О других авторов Вы тоже с удовольствием...

М.: Поэтому... я еще раз хочу закончить об этом. Поэтому я понимал, что не публиковать Солженицына нельзя. Раз мы сказали «а», значит должны говорить и «б». Если мы сказали, что мы отказываемся от цензура, отказываемся от запретов, то надо говорить и «б». Единственное, что меня останавливало, чтобы не напортить делу. Какому делу? Не Солженицыну, а нашему делу, за которое мы взялись, потому что, если бы мы сейчас стали все вываливать, Горбачеву туго бы пришлось. Нужно время для того, чтобы в партии, которой мы руководили и которую мы считали, что ее надо, партию, заставить работать на перестройку. И в народе, который еще не успел осознать того, что ошарашить сразу, сказали бы, «да что это такое, Горбачев с ума что ли сошел?» И так его очень сильно... Очень трудно проводилось каждое решение. Тут нужно было время, нужна тактика. Недаром Горбачев проводил многочисленные

всякие дискуссии в политбюро с руководством, чтобы как-то постепенно менять сознание людей.

Ф.: Так эта тактика была с Вашей точки зрения одобрять Горбачева, что он сделал такие решения?

М.: Да. Надо подготовить людей, нельзя рубить с плеча. Хорошо, я тоже был несогласен со многим у Солженицына, но я понимал, что это не аргумент, а аргумент другой, что надо, чтобы это не вызвало вреда для нашего дела, надо постепенно к этому всему приходить. Поэтому я Залыгину Сергею говорил, что Сергей Павлович, Вы поймите, тут надо взвешивать все обстоятельства. Ну что бы было, если бы взяли опубликовали его, а на политбюро бы один Горбачев или два или три человека были бы «за», а остальные выступили бы против? А так и могло бы произойти. Поэтому на полгода я отсрочил, потом уже пришел к выводу, когда все поднялось, что это все невозможно остановить. А так я говорил Залыгину, я говорю Сергей Павлович, у журнала «Новый мир» есть перед Александром Иссаевичем долг невыполненный не по Вашей вине – запретили тогда публиковать «В круге первом», тогда еще, когда он был здесь, до водворения его – Вы, говорю, в начале выполните этот долг, вот Вам добро, опубликуйте эти произведения, потом мы вернемся и к другому – ни в какую. Он обращается к Солженицыну, тот ультимативно – «публикуйте только «Архипелаг Гулаг» в первую очередь и ничего другого я не разрешаю публиковать, кроме как начинайте с этого. Вот так. Вначале, это было осенью 88-го года, а летом, по-моему, или весной 89-го года второй был заход на это дело и тогда сказано было, не то, что прямо, но дано было понять, что решайте в Союзе писателей. Союз писателей решил, высказал, в тот же день я на политбюро взял слово и сказал, что у нас другого выхода нет. Вся общественность требует от вас решения Союза писателей и т.д., кто бы чего не говорил об этом, мы не можем и не должны восприимчиво относиться этому делу и таким образом «Архипелаг»... Единственное что, я просил Залыгина дать вступительную или заключительную статью, где какие-то моменты оговорить, что по ряду вопросов редакция, естественно выдерживается правовой точки зрения. А он сделал это так не очень.

Ф.: И с Гросманом тоже была проблема?

М.: Это до меня было. Я в проблеме Гросмана не принимал участие, это было до меня при Яковлеве. Тоже, наверное, нечто аналогичное было. Вот демократы и из интеллигенции...кстати говоря, интеллигенция ведь тоже по Солженицыну занимала разные точки зрения.

Ф.: Безусловно, я знаю.

М.: Одно дело руссофильская часть интеллигенции, а другое дело прозападная часть.

Ф.: Даже в его мысли есть разные струи и патриотические и можно найти либеральные моменты. И то и другое – как хочется.

М.: Да, но для либералов, тем более, что были сомнения во взглядах Солженицына на еврейский вопрос были тогда разные, но вот теперь после издания его книг там прояснилось, правда я так и не удосужился прочитать, но прочитаю обязательно. Но тогда это был серьезный вопрос. Поэтому одна часть патриотическая...

Патриотическая тоже была двух направлений – одно прокоммунистическое патриотическое направление, другое – про- как бы тут сказать, ну не царское, а узко почвеническое, несоветское, а скорее антисоветское.

Ф.: Интересно, Вы любили почвенников? Я заметил было дело Распутина – Астафьева, и это не было... Почвеническая идеология влияла как-то на Вас?

М.: Нет, не влияло. Влияло только одно – это хорошая литература, это настоящие мастера слова. Я с Астафьевым тоже не со всем согласен был. Например, в его оценках обороны и блокады Ленинграда я не согласен с ним категорически, тем более что сам не был в блокаде, но знал много о блокаде и в 44-м году вернулся из эвакуации еще немцы стояли, ну не немцы, а финны, в 20-ти километрах от Ленинграда стояли. Вот, так что тут не политические скорее моменты, а чисто такие. Я к этой плеяде еще мог бы прибавить и других – это Белов, это Быков, Василь Быков – я его очень высоко ценил как мастера русской литературы – он писал, в основном, по-русски, Василь Быков, потом авторизовал свои переводы на...

Ф.: Я просто хотел узнать может быть, кроме как влияния на Вас лично, как бы партийное влияние, были ли другие, например, литературные струи, которые помогли созидать Ваше мировоззрение?

М.: Да, ну что же. Да советская литература тогда была. Это, в общем-то... А зарубежную литературу, конечно, не знали. Ну «Мастер и Маргарита» я прочитал давно, когда начались вот эти вот с Запада... И то, мы в отношении Булгакова, что он тоже притиснулся и т.д., но вот в чем-то да, но все-таки. Сталин любил ходить смотреть его пьесы. Тут трудно заподозрить, что его как-то там, но меньше печатали. Но меньше печатали Ильфа и Петрова.

Ф.: Но во все эти года, когда Вы работали, не было чувства, что что-то нехорошо было в этой системе, что были вот эти ужасные моменты при Сталине и даже при Лениным? Не было ли Вам лично неловко, что что-то здесь не так?

М.: Ну, конечно, все это в той или иной мере было известно, начиная с XX-го Съезда. Конечно же было понимание того, что это недолустимо было. Но с другой стороны верилось и виделось, что сама же партия и поставила этот вопрос. Но может быть мы не знали, что не до конца. При Хрущеве этот процесс был в общем-то прерван на пол пути. Но все-таки считалось, что да, это тяжелые страницы, но партия все-таки нашла мужество об этом сказать открыто, покончить с этим. И вообще говоря, конечно же режим Брежнева с режимом Сталина сравнивать и ставить на одну доску нельзя. Ну политические преследования, правда, были какие-то, но террора и такого массового преследования людей – такого же не было. Не в этом главная беда Брежнева и главная вина, а в том, что упустили время для больших перемен.

Ф.: Может быть последний вопрос? Вот «Перестройка» Горбачева, он сам писал вот эту книгу? Вот книга, которая появилась?

М.: Ну писал, конечно, сам.

Ф.: Потому что я хочу цитировать чуть-чуть о разных моментах книги, но я не совсем уверен мог ли он сам сделать целый текст или это было группа людей?

М.: Я должен сказать как вообще велась работа над текстами, различными текстами - докладами Горбачева, выступлениями, потому что мне от начала и до конца пришлось участвовать в этом процессе. Конечно, это было больше коллективным усилием, но Горбачев всегда был самым главным участником этой дискуссии и, в конечном счете, он задавал основные идеи и отбирал идеи. Может быть высказывались другие, но у него всегда было последнее и решающее слово. А велась это работа так. Делались какие-то заготовки, а потом садились вместе и велось их обсуждение и одновременно передиктовка, сидела стенографистка и записывала все это дело. Но, как и всякая передиктовка это потом еще раз возвращалось тому же кругу лиц, опять собирались, но, в конечном счете, Горбачев последним, так сказать...

Ф.: Ну понял. Значит, что он не писал каждое слово, но большинство слов он сам сказал, а другие помогли ориентировать.

М.: Да, или пересказал их в процессе передиктовки.

Ф.: Все понятно.

М.: Что же касается вот этой первой книги «Слово о перестройке», то это был некий свод выступлений, бесед и каких-то других текстов, которые потом каким-то образом суммировались, обобщались. Работал над этим Черняев Анатолий, помощник его, и Горбачев все это, в конечном счете, приводил к последнему общему знаменателю, он все это делал. Правда, потом он присылал эту книжку и мне присылал и я делал свои подробные замечания, какие-то даже предложения вносил, так что я помню хорошо этот процесс – это был коллективный процесс, но при решающем участии самого Горбачева. Неправильно. Я категорически с тем не согласен, что якобы Яковлев был генератором идей, а Горбачев их только озвучивал. Это абсолютно неправильное утверждение.

Ф.: Но я сам задал ему этот вопрос и он сказал – нет, он не участвовал.

М.: Как не участвовал? Он участвовал, но участвовал наряду со всеми в разговорах... А основные идеи, их подбор, формулирование, это все конечно от Горбачева. Я не скажу, что он сидел и писал каждое слово. Метод работы другой – это надиктовка. Надиктовка она перемежается сразу какими-то замечаниями, мы вмешиваемся в этот процесс, чего там еще такое, потом идет правка. Он дает нам, чтобы мф прошлишь по этому тексту, а потом все равно он выпускает.

Ф.: Причина моего вопроса, потому что я интересуюсь самим словом совесть. Много раз в этой книге употребляется слово совесть. Интересно, как и кто интересовался совестью, потому что есть иногда другие люди в процессе редакции, которые сами привнесут свою линию и как-то влияют. Но это довольно туманно, когда интересуются одним словом, то это почти невозможно...

М.: Ну вопрос о совести в данном случае вообще не возникает, потому что это работали единомышленники. Работали, как правило, над заключительными текстами, т.е. в порядке обсуждения коллективного, втроем и в четвером – Болдин еще принимал участие, но он большей частью молчал или немножко так поддакивал. А так – Яковлев и я. Черняев международные тексты обрабатывал, заготовки делал, в которых мы

может быть и не участвовали, может быть Яковлев в большей степени, чем я. Над экономическими текстами я работал, в какой-то мере Болдин. Что-то предлагали, но все это в общий котел. А мешал этот котел и его заваривал – Горбачев. И делал из него, так сказать, конечный результат.

Ф.: Спасибо.